

# «Все движется любовью»

Историю записала  
АЛИНА ТУКАЛЛО

Николай Эстис — не только необычный художник, работающий в подсознательных, мистических состояниях, но и талантливый рассказчик. Первый раз мы встретились для интервью, второй — в Литературном клубе в Цюрихе, где он самозабвенно вешал о своей долгой, полной чудес жизни. И при этом Николаю даже не нужны наводящие вопросы — достаточно наметить тему. В моей журналистской практике был только один такой случай — интервью с Евтушенко, которое снималось в Переделкино для фильма про Эрнста Неизвестного. Тогда Евгению Александровичу сказали: «Эрнст», и... понеслось. Когда Евтушенко закончил, съемочной группе и мне надо было, конечно, встать и аплодировать, но мы не догадались. А через год его не стало. Николаю Эстису восемьдесят два года. Он через многое прошел и многое видел, и его биография, несомненно, достойна целой книги. Он живет в Гамбурге, последнее время — в самоизоляции, и ему сейчас очень одиноко. Я надеюсь, что встреча с читателем, пусть даже виртуальная, немного отвлечет его от грустных мыслей. А вы, прочитав эту историю, убедитесь, что, несмотря на смерть и болезнь, есть в нашем мире творчество и любовь, и этот прекрасный tandem переживает все эпидемии и всех нас.

# B

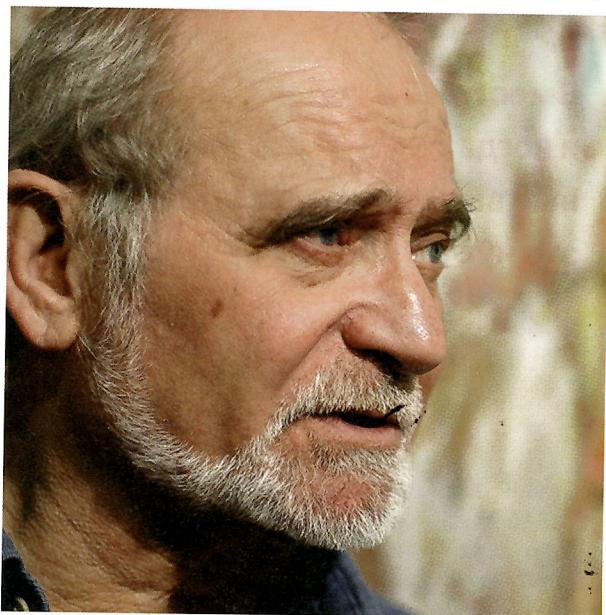
моей вселенной есть две равноценные величины — искусство и любовь. Если говорить о моих работах, без любви, без женщин ничего бы не было, никогда. Я был бы просто профессионалом, писал кондовые вещи. Искусство — это что-то совершенно другое. Кто-то послал тебе это, и ты должен быть исполнителем, дай бог только, чтобы рука слушалась. Можно создать величайшее произведение, но все же это какой-то предметный ряд, а я исторгаю из себя то, чего нет в природе, и возникает субстанция, которая существует только у меня на холсте. Откуда это берется? Это величайшая тайна! Я не воцерковленный человек, я не молюсь какому-то конкретному Богу, но вижу, что это чудо происходит со мной много лет, хотя далеко не всегда. Я хочу его, я зову его, но и боюсь — надо удержаться, не упасть. Искусство — это мир, куда ты попал, ты подвешен за волосы, и тебе некуда деться. Ты обречен.

Вещи, которые я создаю, нельзя задумать заранее — они появляются в состояниях, похожих на экстаз. А для этого нужен очень мощный импульс. Электрики его называют пусковым током, и это очень точно по отношению ко мне. Я пережил много трагедий и не хочу, чтобы пусковым током было горе. Для меня это только любовь. «И море, и Гомер — все движется любовью», — сказал мой любимый Мандельштам. Я хочу, чтобы пришла женщина, увидела мои работы и сказала: «Ах!» Этим она и примет, и удивится, и впустит. Для меня это значит, что я добрался до нутра, до сущности. Женщина по всему своему устройству, чувственному и физиологическому, как бы пребывает в состоянии эмоциональной

готовности для любви, если, конечно, не вытравила это в себе. Я много ездил по России в шестидесятые, и первые контакты возникали у меня, когда идешь на почту получать командировочные. И она сидит в этом окочечке, такая замечательная, она ничего не предлагает, но она так на тебя смотрит и так себя держит, как будто именно тебя ждала.

Кроме благодарности и тихого восхищения к женщинам из русской глубинки я ничего не испытываю. Они нацелены на мужчин, но это что-то прямо противоположное прости туции, какая-то доброта. Может, она недополучила, может, ищет чего-то нового, и это не значит, что она в тебя вцепилась и не отпускает. Первая командировка у меня — очень неосмотрительно — была в Иваново. Во всех областных музеях, в какой бы город вы ни приехали, выставлялось одно и тоже: несколько вещей классиков, передвижники, но в основном залы были увешаны картинами московских и местных художников, народных и заслуженных. А запасники бывали очень богатыми. В хранении ивановского музея были вещи, о которых никто не подозревал: например, Малевич. И появляюсь я, гость из Министерства культуры, молодой человек, интересующийся. Тогда, наверное, не так много приезжало художников из Москвы, и дама-искусствовед прониклась ко мне и показала Малевича. И все, мы расстались. Но наутро она находит меня в гостинице, приносит мне в номер горячие блины со сметаной. Как ее не полюбить, не пригреть?

Я чувствую женщину и понимаю ее боль и все, что с ней происходит. С середины девяностых я живу в Германии и сейчас много времени провожу в больнице — там прекрасное



“

**В моей вселенной есть две равноценные величины — искусство и любовь. Если говорить о моих работах, без любви без женщин ничего бы не было никогда**

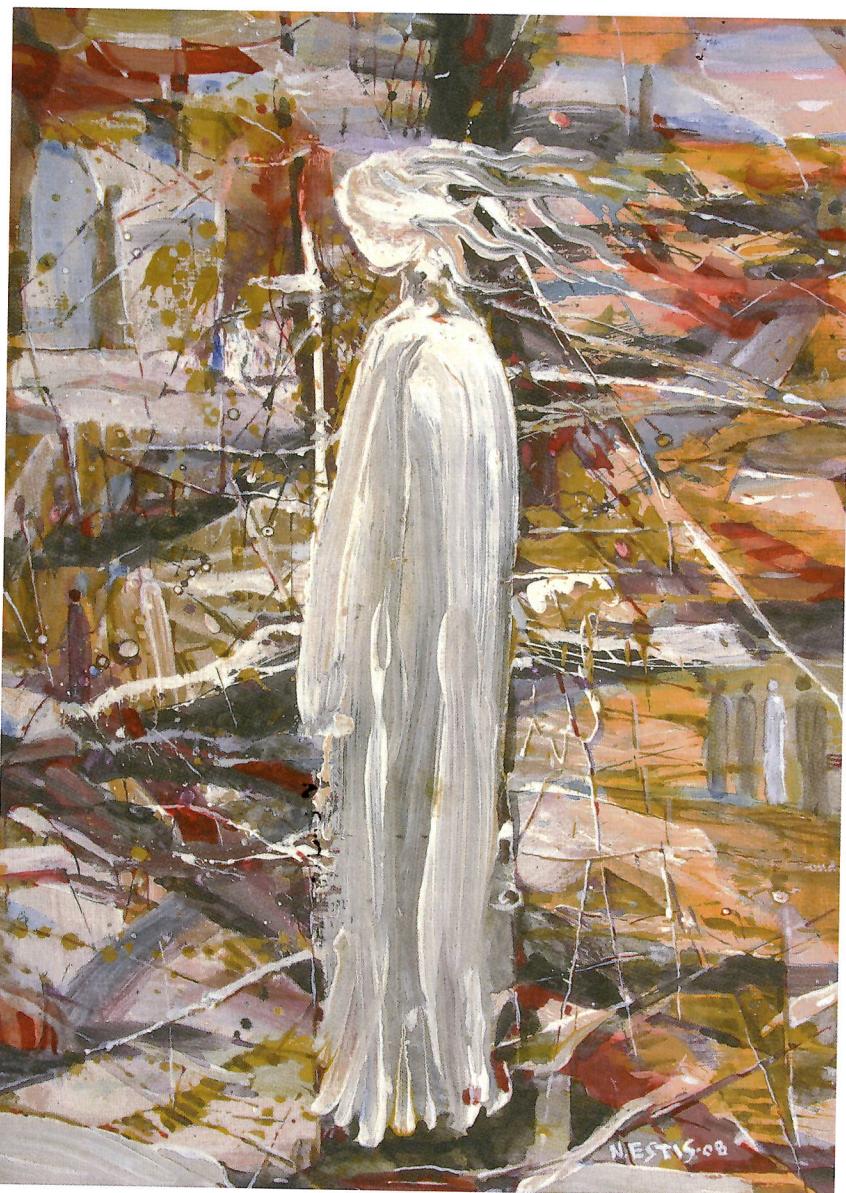
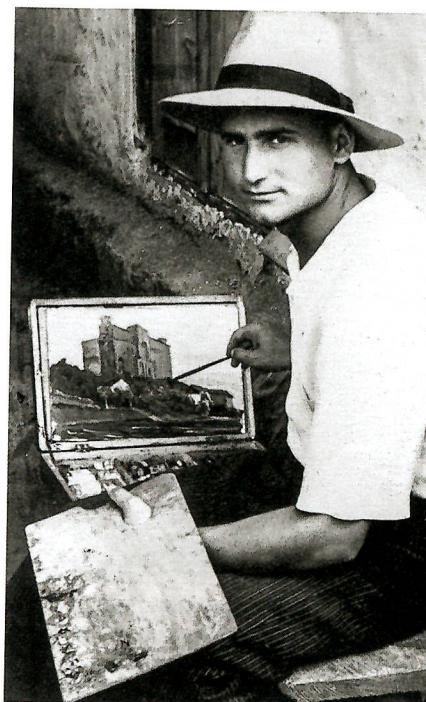


ФОТО: ИЗ АРХИВА НИКОЛАЯ НЕСТИСА



→ обслуживание. Медсестра делает обход, она очень любезна, вежлива, но я-то замечаю, что ее все раздражает, может, неприятности какие-нибудь, и на фиг ты ей не нужен. И мне это трудно, потому что я зависим. Еще моя профессия — это беда, я смотрю — и все вижу. Это же где угодно — в метро, в поезде. Порой не оторваться от пейзажа, что же говорить про женщину! Ты все время видишь «обнаженную», не важно, красивую или нет, я ее очень люблю, и иногда, бывает, говорю себе сам — спрячь свои бесстыжие глаза.

Любовь с Люсей Желановой (первая моя настоящая любовь, соединившая нас на втором курсе Московского художественно-графического училища) — это было безумие, сумасшествие. Когда люди молоды и сильно влюблены, они находятся на пределе своих возможностей, и происходит соединение во всем разномасштабном, разномастном, разнонациональному. В дальнейшем брак — изживание этого пика, великой любви, за счет которой вы живете. Это как в акварели: цвет разливается по бумаге и до определенной поры его хватает, пока она сырья, но чем дальше, тем меньше этого красочного слоя.

Люся — из жуткого района на окраине Москвы, из коммуналки, где родители и три взрослые дочери занимали одну комнату. Деспот отец, обозленный, правда, непьющий, и мать — то добрая, то нет, всякая. Чтобы расписаться, нам пришлось выкрасить у них Люсин паспорт. Единственное, что ей сказали, когда мы поженились: «В подоле принесешь, выгоним». Жить нам было негде, и когда я приходил к ней, уже будучи ее мужем, и звонил, дверь приоткрывалась на цепочку, которая никогда не откидывалась, и говорилось: «Люськи нет». И — шмяк по носу этой дверью. Потому что появление еще одного человека было прежде всего посягательством на их восемнадцать метров. И все виделось через эту призму, а о судьбе человеческой, о судьбе женской вообще никто не думал.

Люся была очень самобытная, ни на кого не похожая, никакой позы, искренняя, простая. Она вырастила наших двоих детей, Лену и Олега, в тяжелейших условиях. После училища она не вернулась в профессию художника, и все говорили, что это была жертва ради меня. Но, если ей об этом сказать, она не согласится. Ушел я от нее через четверть века, оставив ей квартиру и переехав в мастерскую улицы Горького, когда в браке появилось отчуждение. В мастерской в полуподвале была полная разруха и бегали крысы, но они мне не мешали. У меня не было ни рубля, я не помню, что я ел, на чем спал. Бытовая сторона меня совсем не беспокоила, это была абсолютная духовная жизнь. И я почувствовал, что освобождаюсь, улетаю. Это был период просветления и предшествия нашей с Лидой встречи.

Союз художников с идеологической точки зрения был жуткой организацией, но выжить профессиональному без него было очень трудно, вплоть до того, что хорошие краски и кисточки продавались только в их киоске по членскому билету. Но зато при Союзе были дома творчества, и я очень благодарен за то, что мог на два, на три месяца отключаться от всего. Мне давали мастерскую, три раза в день кормили, а что еще нужно?! Основные мои работы до восемидесят пятого года были сделаны именно в домах творчества — Челюскинский, Старая Ладога, Таруса, Сенеж.

С Лидой Шульгиной мы познакомились в Доме творчества в Сенеже под Москвой. Она была на двадцать лет меня моложе, но ее уже знали как отличного художника-иллюстратора: она работала с Заходером, была первым иллюстратором Сергея Козлова, автора «Ежика в тумане», а Сергей Михалков

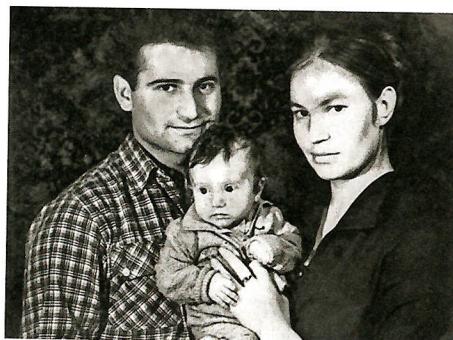
“

**Вместе с Лидой мы были силой, и когда я делаю наши совместные выставки, я по-прежнему это чувствую.**

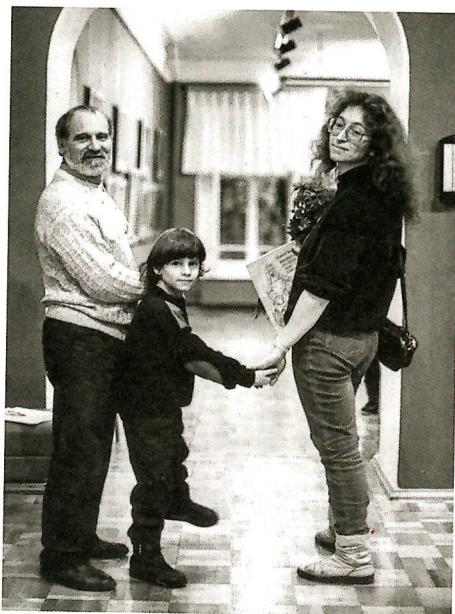
для своего юбилейного издания полгода ждал, пока она освободится. Но там я увидел ее работы впервые и был поражен! Абсолютно московская девочка создавала свой неповторимый мир, населенный ежиками, травками, букашками. И все это было сделано необыкновенным штрихом — трепещущим и пушистым. Ей как книжнице мастерская не полагалась — она рисовала в номере за письменным столом. Я привгласил ее к себе в мастерскую, и она впервые стала писать большие холсты. Что мы там наработали, что мы натворили в Сенеже! Самое страшное — к концу срока надо дать адрес, куда отвозить холсты и чемоданы. Мы всю ночь провели в размышлениях, возвращаясь ли Лиде к мужу, и я сказал: «У меня ничего нет, но, если ты поедешь ко мне, это будет большим счастьем». Беременность она провела в полуподвале, между двумя самыми перегруженными улицами Москвы. И нашего сына Сашу из роддома привезли именно туда, там он род.

И тут как в чудесной сказке началась эмиграция. Мои многочисленные поклонники — инженеры, психологи, музыканты, у которых раньше не было денег, продавали старые запорожцы, садовые участки в шесть соток и увозили с собой не ковры и люстры, а вспоминали про меня. У меня было чувство, что люди уезжают навсегда, и я продавал много и дешево. А потом я спросил: «Лидочка, какое у тебя в Москве любимое место?» И она привела меня в замечательный двор, через который она ходила в школу. Я расселил в этом дворе, в кирпичном совминовском доме сталинской архитектуры, коммуналку. Но моя мастерская теперь оказалась для Лиды далековато. Поблизости были кооперативные мастерские Союза художников, какой-то живописец эмигрировал, и я купил у него мастерскую для Лиды.

Когда я в допрестороечное время делал выставки, я не имел права сделать пригласительный даже за свои деньги. Я приходил с просьбой к референту в Союз художников, а мне отвечали: «Ну что вы! В стране так плохо с бумагой!» И мне становилось стыдно. Проходят годы — и вдруг... рекламные газеты летают по шоссе, дворам, скверам, валяются в грязных подъездах. По бумаге ходят, ее рвут, жгут, топчут. Как-то мы с Лидой вышли в наш двор, и газета буквально валялась в луже. Я сказал ей: «Это же невозможно, немыслимо. Может, попробуешь сделать из нее что-нибудь?» Она ее подобрала, приласкала — взяла в свою мастерскую, размочила, покрыла раствором клея с белилами. Разложила переплет какого-то древнего фолианта и лепила на нем фигуры, приклеивая их друг на друга. Они как бы выходили из этой книги. «Библия» — так назвала Лида свою первую работу, вылепленную из бумаги, — обошла много выставок и, по-моему, даже приобретена каким-то музеем.



Николай Эстис с первой женой Люсей Желановой и сыном Олегом.



С Лидией Шульгиной и сыном Сашей.



Бумажная скульптура Лидии Шульгиной.

А потом я почувствовал в Лиде надлом. Ей не были свойственны депрессии, но тут я заметил, что она во что-то погружается — может, подозревала, что у нее наступил очень трудный период. Были боли, но ничего не диагностировали. В то же время одна дама из Министерства культуры Шлезвиг-Гольштейна предложила выставить наши работы. Мы прилетели на выставку в Гамбург и показались врачу — оказалось, уже пошли метастазы. Я помню вечер после операции. Приходит врач со снимками и говорит Лиде, что ей срочно нужно сделать все распоряжения — жить ей осталось от силы месяца. И, несмотря на это, она прожила еще четыре года и сделала за это время больше, чем за всю предыдущую жизнь. Она разрывалась между желанием лепить бумажные фигуры, делать рельефы, живопись на стекле, иллюстрировать Евангелие. Иногда я почти на руках доносил ее до машины, Лида пристегивалась и ехала в мастерскую. Вот она, парадоксальная тайна творчества, когда, несмотря на трагедию, творец не может остановить источник божественного вдохновения. Все ее бумажные скульптуры в натуральный человеческий рост и выше были сделаны в Германии, во время болезни, и большинство этих скульптур — на библейскую тему. Одна из новых поклонниц Лиды сказала: «Эта художница приехала сюда, чтобы вернуть нас к Богу».

Я не перестаю поражаться Лидой — она была на невероятной духовной высоте, но шла абсолютно другим путем. Она трезво,rationально рисовала первом композиции из сотен фигур так, как будто только обводит их, при этом могла начать в любой точке. Она не делала эскизов: у нее в голове уже был замысел — и композиция, и анатомия. У нее не было тех экстатических состояний, которые необходимы мне, чтобы сделать настоящую вещь, но это не мешало нам где-то там сходиться. И как можно не любить такое чудо?! Чудо, что эта женщина делает, и чудо, что эта женщина с тобой.

Понятие коллектива вызывает во мне отторжение, но вместе с Лидой мы были силой, и когда я делаю наши совместные выставки, я по-прежнему это чувствую. На все, что делаю, когда уже отстраняюсь и оцениваю, я смотрю глазами Лиды и оцениваю ее фразеологией. Когда она проходила мимо, чтобы поменять воду, и, увидев мою новую работу, говорила «Ах!», мне не нужны были ни худсоветы, ни академики, ни галеристы. Лида, женщина, «ах» — это и есть мой пусковой ток. Двадцать лет прошло с тех пор, как Лиды не стало, но память о ней и наш сын Саша, который ждет моих новых работ, дают мне силы творить. Конечно, уже нет того сильного эмоционального порыва, как раньше, но есть обстоятельность, пристальность, сосредоточенность и погружение в глубинную стихию творчества. □